

Larisa Bogoraz, interview with Philip Boobbyer, Moscow, April 1996, transcript in Russian and English.

Филип: ...Родители, что Вы получили от них?

Лариса: Тяжелое наследство я получила от родителей. Мои родители были... участвовали в революции и гражданской войне, были активными членами партии, активными, т.с. идейными, идейно-убежденными, и занимали довольно высокое положение. Отец (вот его портрет - вот он, здесь) он работал в Госплане Украины, в то время, когда организовывались колхозы...

Ф.: Украинец?

Л.: Нет, еврей, и отец и мать - евреи. В 1936 году его арестовали. В 1936 году мне было 7 лет. Еще до этого мать с отцом расстались. Я жила с матерью. Мать была преподаватель истории сначала, окончила университет, тогда он назывался Институт Народного Образования, а по-украински Институт Народного Свиты, преподавала историю, потом стала преподавать историю партии, т.е. была идеологическим работником. Я родилась в Харькове на Украине. Знала и знаю сейчас украинский язык как родной, как русский, могу говорить по-украински также свободно и читать. Ну училась, потом были во время войны в эвакуации

Ф.: Один вопрос: они были евреи верующие? Или просто из верующих семей?

Л.: Ну наверное...

Ф.: Но вы ничего от них не получили, как бы еврейские традиции?

Л.: Совершенно... Тогда ничего совершенно не получила. Их родители, т.е. мои бабушки и дедушки уже умерли, когда я родилась их уже не было. Была, правда, мачеха отца. Мачеха, Вы знаете, что это такое? Неродная мать. Вот она была... видимо сохранила еврейскую традицию, но я с ней очень редко виделась, особенно после ареста отца, почти не виделась. Языка еврейского совершенно не знала ни одного слова. Это вначале, в раннем детстве. А вот уже потом, когда я встретила с отцом после лагеря, это было

довольно поздно...

Ф.: Так он сидел там довольно длинное время, да?

Л.: Он получил не очень большой срок. В 1936 году он получил срок в 5 лет и был на Воркуте, но в 1941 году уехать оттуда нельзя было, и вообще, нельзя было уехать, было запрещено. Поэтому, он оставался на дальнем севере до хрущевской амнистии, а потом он приехал. Вот потом, я, как бы, заново с ним познакомилась, я уже была взрослым человеком, у меня уже была своя семья в это время. Отец был очень умный человек. Он многое пересмотрел в своей жизни, вот в то время, когда он сидел в лагере и еще до

этого, но он не решался как-то что-то сделать, просто боялся. Но вот потом я с ним встретила.

Ф.: Так он как бы во время репрессий против украинцев начал передумывать все, во что он верил, да?

Л.: Да, все пересмотрел, совершенно

Ф.: Вы потом говорили об этих вещах?

Л.: Да, к сожалению не записала, очень жалею, чувствую свою вину. В 1969 или 1970 году, я не помню, отец... его не исключили из партии, т.е. его восстановили после лагеря, а потом не исключили. И на каждый революционный праздник к нему приходили из райкома, как к ветерану партийному. А в 1969 году он подал заявление,

что он выходит из партии, потому что не согласен с ее политикой. Это было тоже не просто, это было страшно. Особенно человеку, который пережил лагеря, но, тем не менее, он сделал это. А я ему говорила, папа, ну зачем? Ты боишься - не надо, если ты боишься. Ведь мы же знаем, и ты знаешь, что ты не согласен, зачем тебе надо куда-то сообщать. Он говорит: "А ко мне приходят и вот говорят, что я активист. Я не могу больше врать." Вот внутри у него была тяга к тому, чтобы сказать правду, стремление к тому, чтобы сказать правду. От него я очень много получила, но у же когда была сформировавшимся, взрослым человеком. Я узнала, что он все-таки помнит еврейский язык. Он пел иногда еврейские песенки. Так чтобы говорить, он не мог говорить по-еврейски, уже забыл начисто. Но вот какие-то деские воспоминания были еще. А мать - нет. Так до конца и осталась...

Ф.: Вы жили с ней?

Л.: Да.

Ф.: Где?

Л.: В Харькове сначала. Потом, во время войны, мы из Харькова эвакуировались на Волгу. Войну провели в эвакуации на Волге, потом вернулись в Харьков, тогда мне было, по-моему, 16 лет. Там в Харькове я окончила школу.

Ф.: Вы в 1931 значит?...

Л.: в 29-м. В Харькове я закончила среднюю школу и поступила в Харьковский университет.

Ф.: Это в каком году?

Л.: В 46-м училась в Харьковском университете.

Ф.: Чем...?

Л.: Филологией. И в школе и в университете я была очень активной комсомолкой.

Ф.: Расскажите чуть-чуть об этом?

Л.: Да вот несколько слов. Еще когда я была маленькой, я же воспитывалась с мамой, но дело не в мамином влиянии...

Ф.: Вы были двое дома?

Л.: Да.

Ф.: В коммунальной квартире или...?

Л.: Нет у нас вначале была отдельная квартира, потом уже после войны были только коммунальные. Еще с нами жила мамина племянница, моя двоюродная сестра, родители которой оба, и мать и отец, были репрессированы. Отец был ее просто убит, отец был латыш. Вот когда латышей арестовывали, отца арестовали и убили просто во время следствия, видимо. А мать была выслана в Красноярский край. И вот моя сестра жила с нами, так что мы жили втроем. Но сестра была еще более ортодоксальной, чем я, правда,

без стремления к активности какой-то, она не стремилась проявлять активность

Ф.: Так Вы были убежденной как бы активисткой?

Л.: Да, и даже...

Ф.: Почему Вы получили... Это было от родителей или больше всего от школы?

Л.: Нет, еще в детском саду.

Ф.: И, например, может встретили там добрых коммунистов?

Л.: Вы знаете, я могла знать, но я не хотела знать ситуацию. Отгораживалась. И вот когда мне было, может быть, лет уже десять или одиннадцать, приехала одна женщина с Воркуты, где отец был в лагере. Она привезла от него привет - письмо она не могла от него привезти. и сказала, что она едет обратно к мужу. Муж ее был на

Воркуте, и что она может повезти записку отцу. И мама мне сказала: "Напиши отцу". Я сказала: "Я не буду писать "врагу народа". Ну что у нас тогда было в школе, в детском саду, например? Мы

должны были учебники...

Ф.: Это было после события Павлика Морозова? Это влияло на Вас?

Л.: Да-да.

Ф.: Именно на Вас?

Л.: Именно на меня. Еще дело не только в Павлике Морозове. Дело в том, что еще, значит, на уроках мы должны были открывать старые учебники, новых не было. Там были портреты репрессированных партийных деятелей. Мы должны были ножницами вырезать их из учебника, или, зачеркивать чернилами. Я этим занималась, но можно сказать, я еще маленькая тогда была.

Ф.: Тогда было чувство, ну как бы, коммунистического долга?

Л.: Да. А вот враги. От них будет всем плохо...

Ф.: Но это была особенность в каком-то смысле...

Л.: С фальшивым ориентиром. Но я это делала, так же как и другие у которых, может быть... которые делали это не так убежденно. А я - совершенно убежденно.

Ф.: Хотя сестра, она была более...

Л.: Она была старше меня.

Ф.: И более даже убежденная.

Л.: Да, причем, она осталась при своих убеждениях уже совсем до конца.

Ф.: Во что Вы были убеждены? Это было в коммунизм? В Сталина? В партию?

Л.: В справедливость, равенство людей.

Ф.: Понятно.

Л.: Вот идея, которая, так сказать, вдохновляла. Причем это очень глубоко проникло в сознание. Мне действительно не приходилось даже себя как-то настраивать для этого. Я действительно не делала никакой разницы между... Я же училась в обыкновенной школе, там были дети разные. Дети высокопоставленных людей, дети репрессированных и дети обычных граждан. Для меня не было разницы, я дружила со всеми одинаково. Не было такого, чтобы особенно я дружила с теми детьми, чьи родители были репрессированы, хотя у нас была общая судьба. И не было такого, чтобы я особенно дружила с детьми, чьи родители занимают особое положение, наоборот, тут я ощущала некоторую чуждость.

Ф.: Это любовь к равенству - это не совсем... Это не должно быть коммунистическим конечно.

Л.: Это, скорее, христианское.

Ф.: Может быть христианское или еврейское...

Л.: Но откуда она взялась - я не знаю. Я думала об этом сама, и у меня есть некоторые предположения. Я довольно рано начала читать, и мне читали. И читали классику, конечно, русскую классику. Эти ценности содержатся в русской классике.

Ф.: Да, это правда.

Л.: Я думаю, что именно русская классика нас воспитала. Ее не запретили...

Ф.: Вера мне в самом деле рассказала, что она воспиталась через русскую детскую литературу, что это влияло очень сильно на нее.

Л.: Да, но Вы знаете, вот моя тетя, мамина сестра, читала мне, когда я еще не умела читать, т.е. была совсем маленькая... Я очень рано начала читать сама. Но когда я была

совсем маленькая, моя тетя читала мне сказки Чуковского. И Вы знаете, она читала и комментировала их, в революционном духе. Она говорила мне, что Чуковский был антиреволюционер, антисоветский человек. Что он в своих сказках изобразил... там "Тараканище" у него есть сказка, что это карикатура на Сталина.

Ф.: Но, во всяком случае, она читала.

Л.: Да. И с этим я не соглашалась. Я помню, что в детском саду меня все устраивало совершенно. И жизнь устраивала... Я ведь создала себе некоторую модель мира. Я считала, что вот мы живем очень хорошо - мы жили довольно бедно на самом деле. Но я считала, что мы живем прекрасно, а вот мои родители до революции жили очень плохо. И мне нужно было сделать какое-то умственное усилие, чтобы понять, что это было не так. Например, я могу привести пример такой: у мамы что-то в традициях еврейского быта... Она выросла в украинском селе, еврейка, но в украинском селе выросла. В ее традиции было такое делать заготовки продуктов на зиму. Осенью, когда много... Она покупала гуся, срезала с него весь жир, перетапливала этот жир, и он стоял всю зиму для того чтобы поддерживать. Одного гуся она покупала и наливала одну баночку жира. Однажды эта баночка у нее лопнула, и она заплакала. Я подумала: "Значит для нее этот один гусь - такая ценность, что она плачет". Потом я узнала, что ее родители - очень бедные

люди. Они действительно были бедные люди.

Ф.: Родители матери?

Л.: Да. Это была бедная еврейская семья, что они осенью покупали 20 гусей и делали заготовки. Я подумала: "Они 20, а мы одного, и то, такая ценность, такое событие". Даже когда мы покупали чашку, это было событие. Но мне нужно было сделать усилие умственное. Я знала, что семья моей матери... Там было много детей, в еврейской семье много детей было... что они бегали зимой босиком, у них не было обуви, были одни сапоги на всех детей. И если нужно было на снег выйти, они эти сапоги по очереди надевали, а у меня-то были туфли. И чтобы понять, что тогда в тех условиях, это не то значило, что в мое время. Я очень не скоро сумела продумать эту ситуацию.

Ф.: Но это может быть тоже Ваш коммунизм, может быть каким-то тайным образом был результатом как бы этих вещей, даже революционных, который влиял на Вас?

Л.: Ну-да, ну-да. До революции люди жили плохо, а теперь живут хорошо, или будут жить еще лучше. Но, вот когда была в детском саду, у нас висел...

Ф.: Мы говорим сейчас о середине 30-х годов?

Л.: Да-да-да. Первая половина. Я помнила.... Я до сих пор помню, я видела это, но не осмыслила это тогда, конечно, я была очень маленькая. Еще до детского сада меня в ясли водили, это до трех лет. И я помню сейчас мертвых, умерших от голода на улицах Харькова. Я помню утром мы выходили, чтобы... в ясли и там, против нашего дома было такое широкое крыльцо, и на этом крыльце лежали трупы опухших людей. И когда

мы возвращались, когда меня забирали из ясель, по талонам покупали хлеб, по талонам. Но мы несли хлеб, значит, я, мама, мамина сестра еще тогда была, их дочь, т.е. довольно много было народу и хлеба получалась буханка. Мы его никогда не приносили домой, мы его раздавали по дороге, потому что голодные были вокруг.

Ф.: И Вы не сделали связи между коллективизацией и голодом этим?

Л.: Для меня это не были связанные вещи. Я действительно не знала, действительно не знала. Очень нескоро узнала.

Ф.: У, как интересно! Вы...

Л.: Мама работала и у меня была няня - украинская женщина из украинской деревни. У нее семья осталась в деревне, дети. Она все время передавала им в деревню продукты, должна была им помогать. Вот няня мне говорила все как есть, а мама конечно...

Ф.: По-поводу другого дела, по-поводу еврейства. Наверное, в тот момент не было антисемитизма?

Л.: Я его, во всяком случае, не ощущала.

Ф.: Это только потом, как бы чуть-чуть...

Л.: ...Уже после войны. Я никак не ощущала этого. Но я не ощущала себя еврейкой при этом. Поэтому для меня и проблемой это не было. Если бы мне пришлось говорить: "Я - еврейка", может быть я бы ощутила.

Ф.: Когда Вы ощутили?

Л.: Во время войны в эвакуации. Там я столкнулась с антисемитизмом, таким, бытовым.

Ф.: Где Вы жили во время войны?

Л.: На Волге. На средней Волге, недалеко от города, он тогда назывался Куйбышев. По-моему, Самара.

Ф.: Значит, Вы были убежденной комсомолкой, в какие годы?

Л.: Да, я просто ждала, когда мне исполнится 16 лет. В 16 лет принимают в комсомол. Я ждала этого дня, когда я смогу поступить в комсомол. А еще до этого я была активной очень пионеркой и занималась пионерскими делами, благородными, т.с. Пионеры помогали семьям военных, семьям солдат. Я ходила по морозу, чтобы найти такую семью, где есть дети и чем им помочь. А потом, я дождалась, наконец, и поступила в комсомол.

Ф.: Несмотря на вот это странное влияние Павла Морозова и таких же типов, Вы не думаете сейчас, что Ваш поздний интерес к совести, в одном смысле, получился через коммунизм?

Л.: Может быть, я думаю многие из диссидентов, из правозащитников тоже прошли такой путь активности...

Ф.: Потому что есть двойственность в марксизме - это моральность и антинравственность большая...

Л.: Обман.

Ф.: Да, это странно, но иногда люди получили что-то...

Л.: Я думаю, что это имело значение, конечно. Те идеалы, те идеи, которые провозглашались, которые не реализовывались - реализовывалось обратное, но провозглашались некоторые идеи - для ребенка это очень много значит.

Ф.: Да, это правда.

Л.: Тот маяк, который перед ним зажжен, как бы. Я верила, что на самом деле наше государство такое, которое стремится к справедливости, а настоящее, т.с. воплощение этих нравственных идеалов я нашла в русской литературе. Но еще не задумывалась о связи с реальностью. И вот когда я училась в школе в старших классах, уже после возвращения из эвакуации, меня избрали в комитет комсомола школы. Я хорошо рисовала и у меня была функция такая - я рисовала стенные газеты. Но содержание мне тоже было

известно, я это делала с полным убеждением, что это хорошо, то что я делаю. И когда я поступила в университет, меня тоже избрали комсоргом курса, причем тут я немножко задумалась. Я задумалась вот о чем. Я была самая младшая на курсе у нас, я

рано кончила школу, раньше чем другие. Почему более взрослые мои друзья отказываются от этой чести? Они все отказались, а я не сумела отказаться, потому что я была самая младшая. Вот это мне было еще непонятно. Вот уже в университете я встретила со старшим поколением. Это были молодые люди, прошедшие войну, и учившиеся раньше, чем я, ставшие взрослыми раньше, чем я, и я узнала их, т.с., позицию, совершенно не совпадавшую с моей

Ф.: Это было в Харькове?

Л.: Да.

Ф.: Поэтому это была какая-то свобода мысли в университете в те времена?

Л.: Да, хотя многих студентов арестовали при мне или до меня. Но это уже действовало в обратном направлении - аресты.

Ф.: Это очень интересно. И вот эта свободомыслие, наверно, влияло на Вас, и Вы начали передумывать, да?

Л.: Да, да, значит, я встретила с молодыми людьми, которые прошли армию, которые читали не только русскую литературу, но и советскую литературу - Ахматову, Пастернака, Цветаеву, а я ничего этого не знала. Когда я росла уже этого ничего... Даже Есенина я не знала.

Ф.: Вы не думаете, хотя, может быть здесь нет конфликта, но это было иногда влияние сильных и привлекательных личностей для Вас больше чем разговоров, или разговоры тоже...?

Л.: Тоже, и то и другое. Вы знаете, когда я поступила в университет, как раз в том году был доклад Жданова о журналах "Звезда" и "Ленинград" и я, как комсорг...

Ф.: Это в 46-м?

Л.: Да, в 46-м... И я, как комсорг курса, должна была делать доклад студентам. И я согласилась, считая, что я должна, хотя я не читала ни Ахматову, ни Пастернака и ничего этого не знала, но я считала, что если написано в газете, то этого достаточно, что мне не нужно знать их творчества. Я выступила, сделала доклад. Молодой человек, который учился у нас, фронтовик, выступил и разгромил меня в пух и прах и дал мне почитать Пастернака. Я была неподготовлена к этому чтению - это же совершенно другая литература.

Ф.: Но Вы читали?

Л.: Но я стала его читать. Прочитала - ничего не поняла...

Ф.: Что именно?

Л.: Его стихи, они непривычно написаны для меня, я же не знала... для меня была дырка в литературе

Ф.: Это были опубликованные стихи, или самиздатовские?

Л.: Нет-нет, опубликованные, но в библиотеках их уже не было, но у кого-то еще были на руках

Ф.: Еще дореволюционные?

Л.: Нет-нет, послереволюционные. У кого-то на руках были книжки. Я прочла, ничего не поняла, но поняла, что доклад Жданова не имеет никакого отношения к этим произведениям. Это единственное, что я поняла. Поэзию эту я не поняла, но поняла, что это что-то совсем о другом. Познакомил меня с этой поэзией мой будущий муж - Юрий Даниэль, конечно, его влияние было наиболее сильным.

Ф.: Вы там встретили его? В университете?

Л.: В университете, да.

Ф.: Он был математиком?

Л.: Нет, тоже филолог.

Ф.: Я знаю, что он, конечно... Вы встретились на этом факультете, да? Но он был чуть-чуть старше?

Л.: Немножко старше. Ненамного, но это, видимо, были существенные пять лет разницы.

Ф.: И когда Вы его встретили?

Л.: В 1946. Значит, с одной стороны... Но был не только он. У нас была такая группа, компания любителей поэзии.

Ф.: Сколько?

Л.: Нас было человек 6-7

Ф.: Кружок маленький?

Л.: Да было человек семь-девять.

Ф.: И Ваш муж тоже был там? Это была литературная группа?

Л.: Это была дружеская группа, скорее, но увлеченная литературой, поэзией в частности.

Ф.: Но вот культура этой группы была наоборот, от комсомольской?

Л.: Да-да.

Ф.: И это был конфликт для Вас?

Л.: Нет, я легко перешла. И потом в эти же годы, в 47-м может быть, году, я поехала на Воркуту к отцу. Он уже был свободен в это время, но уехать оттуда не мог, потому что ему не разрешено было. Дело не только во встрече с отцом... С ним у меня возникли споры. Он очень осторожно спорил, он старался не оказывать на меня никакого давления, но мы спорили, все-таки.

Ф.: О чем?

Л.: О политике, о ситуации в целом. Ноя там увидела очень многих заключенных на Воркуте.

Ф.: Там, в ссылке?

Л.: Это был лагерь.

Ф.: Но Вы же не были внутри лагеря?

Л.: Нет, я была не внутри лагеря, и отец уже не был внутри лагеря в это время. И другие люди, с которыми я познакомилась, тоже уже были освободившиеся, но не могли уехать. И я увидела, что это интересные люди, ни в коем случае не враги народа... и почему они там находятся? Их масса была. Их было много. Вот это на меня очень повлияло.

Ф.: В каком смысле повлияло?

Л.: Ну тогда я начала думать, тогда зашевелились мозги, что называется, хотя я продолжала с отцом спорить, но внутренне готова была уже изменить точку зрения.

Ф.: И когда Вы вышли замуж?

Л.: В 47-м.

Ф.: И муж был антисоветским в тот момент?

Л.: Вы знаете, это неправильное слово - антисоветский.

Ф.: Ну можно как - свободомыслящий?

Л.: Да, это правильно будет

Ф.: И это влияло на Вас?

Л.: Да, конечно.

Ф.: Так может быть это бывает, что пробуждение совести связано с любовью?

Л.: Да, я думаю, да.

Ф.: Чем занимались после этих лет, в конце 40-50-х?

Л.: Дальше забота была о том, чтобы прожить как-то.

Ф.: Вы еще в Харькове жили?

Л.: Да. Потом, когда я вышла замуж, переехала к мужу в Москву. И тут я столкнулась с антисемитизмом, о котором не знала, не подозревала. Ни я, ни муж не могли найти работу в Москве.

Ф.: Он тоже еврей?

Л.: Да. Совершенно категорически не могли найти. Мы приходили, мы знали, что нужны учителя - мы же вышли, окончили университет оба, мы оба учителя. Мы знали, что в такой-то школе нужны учителя. Приходили, и как только они видели национальность - нет, не нужны. Мы даже искали в ближних к Москве окрестностях - и там то же самое было.

Ф.: И как это влияло на Вас?

Л.: Никак. Это не травмировало никак...

Ф.: Просто факт и нужно справляться с этим.

Л.: Да-да-да. Могло помешать так же, что я дочь репрессированного. Также могло повлиять. Т.е. для меня не было разницы, потому ли меня не берут на работу, что я еврейка, или, потому что у меня отец был арестован.

Ф.: И вы еще были комсомолкой в Москве?

Л.: Уже чисто формально.

Ф.: Из-за обстоятельств?

Л.: Нет. Я просто не хотела уже.

Ф.: Просто Вы уже изменились

Л.: Да

Ф.: Между 45-м и, скажем, 48-м годами?

Л.: Сейчас я даже точнее скажу... Да, между 45-м и 47-м. Последняя точка была поездка на Воркуту.

Ф.: И были другие разговоры или личности, которые влияли на Вас в эти 2 года?

Л.: Но вот я и говорю, что сначала была целая компания молодых людей. Они очень влияли, конечно. Причем, они приходили ко мне домой, а мама моя была идейная, убежденная коммунистка, и они с ней вступали в споры. А я к этим спорам с мамой была неподготовлена, но я слышала, как они дискутируют. Они меня убеждали больше, чем мамина...

Ф.: И до сих пор у Вас было много друзей в школе или Вы были чуть-чуть...?

Л.: Не очень... я была немножка да... ну..

Ф.: Потому что это интересно, что часто бывает в моих интервью, что вот это интерес к совести, к истине появляется через дружбу просто...

Л.: У меня не было... Я понимаю, да... да в России именно так было. В России свободомыслие возникало в тесных, дружеских компаниях. Но в школе у меня не было друзей, но были подруги, с которыми я училась, с которыми я могла время проводить, заниматься, о чем-то разговаривать... Но ни о чем серьезном. И я только теперь встречаюсь с ними иногда, узнаю, что у такой-то отец был арестован, только теперь, когда они уже стали старыми женщинами. Одна из них пишет сейчас неплохие рассказы. Я вижу, что вот я могла бы и с ней дружить. Ну вот, значит, в основном, это университетская компания на меня повлияла... знаете, закрученная, как водоворот.

Ф.: Общие события в жизни с конца Сталина по... концу вот 60-х годов, чем Вы

занимались?

Л.: Надо сказать, что смерть Сталина меня повергла в состояние шока. Вы знаете, я думала, вот, как же мы теперь будем жить? Настолько все было связано с именем Сталина, что казалось, что и жизнь только и возможна.

Ф.: Несмотря на всю, как бы...

Л.: Несмотря на все, что я уже... Вот... теперь, значит, про это я Вам сказала

Ф.: По-поводу пробуждения совести в эти десятилетия все-таки было что-то важное, какой-то рост?

Л.: Все-таки важное, я уже работала, я была учительницей в школе

Ф.: В Москве?

Л.: Нет, в Москве мы так и не нашли работу. Мы уехали в другую область с мужем. Работали там оба учителями. И я увидела, как живут люди в провинции, потому что и Харьков - не провинция, и Москва, тем более, не провинция, а тут я увидела, как люди живут в провинции, и разговаривала с людьми. Слышала, что они мне говорят. У меня были основания им верить, потому что, я сама и своими глазами видела, что справедливо то, что они говорят. Вот ощущение того, что очень что-то не так, как нам говорят, не так, как нам в кино показывают. Все укреплялось, и врать больше было невозможно.

Ф.: Но Вы до сих пор чуть-чуть... к тому, чтобы врать, да? Вранье стало невозможным?

Л.: Уже стало становиться невозможным

Ф.: Но до этого - это было возможным?

Л.: А до этого, Вы понимаете, было доверие к тому, что говорилось сверху. Если они так говорят, значит так и надо.

Ф.: Так Вы начали доверять своим взглядам?

Л.: Да, стала доверять больше самой себе, своим глазам, своим ушам.

Ф.: Это был процесс?

Л.: Это был процесс, не очень длительный.

Ф.: В 50-х годах, наверное?

Л.: Ну завершился он, скорее всего, в 50-е годы. Приблизительно году к 52-му. И когда я вернулась в Москву из Калужской области, муж уехал оттуда раньше, и занялся литературной работой здесь, а я еще оставалась там год - меня не отпускали с работы. Но когда, в конце концов, я все-таки сумела уехать, здесь я нашла новых людей. Тогда у меня была одна компания, а тут появилась другая, но подобная, свободомыслящая компания людей.

Ф.: Там же в Калужской губернии?

Л.: ет-нет, это в Москве было, когда я вернулась в Москву.

Ф.: Это были какие...?

Л.: Это были интеллигенция - литераторы, разные литераторы, разные поколения, разных уровней, но по сути, она была действительно, свободомыслящей. И в это время я услышала... Вы знаете, что в это время очень большую роль сыграло - песни Галича, песни Кима, Окуджавы... Хотя они не на те темы были, но они... те, которые не укладываются в официальное русло. Началось с песен Окуджавы, пожалуй. Потом песни

Кима, потом песни Галича... И новые люди появились, и возник новый круг. Вот Вы правильно говорите, что очень большую роль играют дружеские контакты и связи. Причем, влияли и они на меня, и я на них теперь уже.

Ф.: В Вашей речи в 68-м году есть заметка, что истина важна за самого себя и не только

за эффективность. Что Вы имели ввиду?

Л.: Сейчас я Вам скажу. Дело в том, что чем занималась я и мои друзья - вступались за несправедливо осужденных, ну, в общем, указывали на какие-то отступления от справедливости, от права. Мы считали, что это абсолютно безнадежное дело, что никто нас не услышит и никто не хочет нас слушать, что мы навлечем только неприятности на себя. Но при этом независимо от того, что на результат мы не надеялись и не рассчитывали. Я Вам сейчас скажу. Я задавала себе вопрос: "Рассчитываю ли я, что результат будет?" Я задавала сама себе этот вопрос и считала так, что для меня оказывается, все-таки чтобы результат был. Но он будет, я считала, лет через 300, я этого никогда не увижу, конечно, но он будет. Потому что, то, что для меня важно, важно и для других людей, но за это приходится платить дорого, большую цену платить, но вот если я готова платить эту большую, высокую цену, и я это сделаю, и тогда другим, значит, это покажется тоже, м.б... не жизнью ведь платишь, а только лишением свободы внешней, а для меня дороже внутренняя свобода, и для других тоже так. Они увидят, что я так поступила, и когда-нибудь может быть и другие так захотят поступать. Чем больше людей захочет поступать таким образом, тем цена будет дешевле.

Ф.: Я понял из того, что Вы сказали, что это было какое-то широкое обсуждение, и нужно было открыто об этом сказать для эффективности. Это было довольно важное обсуждение? Или распространенное? Много людей говорили?

Л.: Не очень много. В моем кругу это обсуждали.

Ф.: Об эффективности...?

Л.: Об эффективности и принципе открытости. Многие считали... Что это не эффективно - это считали все, собственно говоря. Людей, которые думали, что мы достигнем чего-нибудь... Почему я говорила 300 лет? Я думала, какая страна для меня может служить образцом свободы человека? Я думала Англия, наверное, где очень высокая степень, как мне казалось, индивидуальной свободы, но она тоже не всегда была такой. 300 лет назад Англия была другой. Пройдет 300 лет и Россия будет другой, я думала.

Ф.: Что было важнее для Вас? Свобода или истина, правда?

Л.: Трудный вопрос.

Ф.: Вы боролись за свободу? Или за правду?

Л.: Вы знаете, наравне, и за то и за другое. Лгать уже было невозможно, я уже чувствовала, что этого не могу. Причем, даже так вот, в то время уже начались... нет, немного позднее... отъезды из страны. Моя подруга уехала в Израиль. Она мне прислала приглашение в Израиль, это уже были 70-е. Я подумала, може быть уехать? И нужно было заполнить лист, анкету, в котором надо было написать, что я хочу воссоединиться со своими родственниками, но у меня родственников в Израиле нет, а родственники все мои здесь. И я почувствовала, что просто не могу написать этого, что это та ложь, которую я не могу себе позволить. Это будет неправдой, рука не захотела писать. А потом я просто поняла, что уезжать не хочу. Наверное, я уезжать не хотела. Но мне нужно было найти причину. Теперь я нашла другую причину, почему я не хочу уезжать - "Беломора" нет нигде в мире.

Ф.: Вы верили в абсолютность правды? Это было что-то конкретное? Или Вы просто были против какой-то лжи?

Л.: Нет, абсолютность правды, скорее.

Ф.: И это было... Как Вы это определяете? Это как бы религиозно в одном смысле?

Л.: Императив... Я тогда стала приближаться к религии, причем к христианской в эти

годы.

Ф.: До этого момента?

Л.: Да.

Ф.: Вы можете чуть-чуть об этом рассказать?

Л.: Нет, мне не хочется. Это интимные переживания.

Ф.: Но это связано, наверное, тоже с совестью?

Л.: Думаю, что да. Но больше с судьбой.

Ф.: Без каких-либо подробностей, вот эта абсолютность правды наверно была, как религиозный акт почти?

Л.: Пожалуй, да.

Ф.: Может, не в церковном смысле, а так...

Л.: Да-да, совсем не в церковном смысле, а во внутреннем, мировоззренческом. Но и чувство свободы тоже невозможно постоянно с собой переносить вот это давление, груз зависимости. Знаете, это было заложено в натуре еще. Тут не стоит говорить о чьих-то влияниях. Это скорее в характере было, изнутри.

Ф.: Не из опыта какого-то?

Л.: Нет-нет, именно изнутри шло. Нужно было осознать, что то, как я жила раньше, что я делаю - что это есть несвобода. Когда я стала это осознавать, я не захотела больше.

Ф.: И Вы не можете здесь разделить совесть, может быть, с каким-то внутренним голосом?

Л.: Немножко было, сейчас я Вам скажу. Вот когда я приехала в Москву уже окончательно, и муж мой был арестован за то, что он писал за границу свои произведения, я стала добиваться... Я понимала, что это несправедливое осуждение и очень многие люди поддерживали меня, которых я не знала совсем. И я поняла, что я не могу только о муже говорить, что когда подобные вещи происходят с другими людьми, я просто обязана, чувство долга меня заставляло.. Но вот в этом проявляется совесть, что я не могла только себя освобождать или только за себя бороться. Просто вот мой долг - также выступать за других людей, которых я может быть даже не знаю, но я должна знать точно, что с ними происходило, чтобы не было ошибки какой-то.

Ф.: В этой речи Вы также сказали об ответственности за Россию и за, как бы, зло прошлого .

Л.: Да. Да.

Ф.: Что Вы здесь имели ввиду?

Л.: Понимаете, если я ощущаю себя гражданкой этой страны, я принимаю ее вместе с ее историей, и вместе с теми ее грехами, которые в этой истории происходили. Я не могу сказать, я тут не при чем. Я же принимаю эту страну. Или я должна уехать и ее оставить, а если я остаюсь здесь... Даже не в том дело, что я остаюсь здесь, внутренне считаю себя гражданкой этой страны.

Ф.: Даже за поступки, которые Вы не сами совершили?

Л.: Даже за Ивана Грозного, такое ощущение, понимаете? Я принимаю историю всю целиком, не потому, даже, скажем, советский период, не только потому что мои родители принимали участие в создании этого чудища, но и потому что я принимаю всю историю целиком - от начала и до сегодняшнего дня. Даже если я пыталась что-то сделать, что-то изменить, но у меня не получилось - все равно я отвечаю за это. Поэтому, когда мне говорили, что вот... Выход наш на площадь тогда с протестом против оккупации Чехословакии, мне говорили - ты счастливая, ты теперь не отвечаешь за это.

Я говорила - нет, я все равно отвечаю за это, ведь войска вошли, и они там оставались и они прекратили развитие страны.

Ф.: Значит это в каком-то смысле был момент покаяния?

Л.: В каком-то смысле - да.

Ф.: И Вы это поняли?

Л.: Я это с самого начала понимала. Вот не с самого начала жизни своей, а вот тогда, когда я уже вошла в этот образ сознания. Это глубокое очень чувство - ответственность и долг.

Ф.: Значит есть интересная связь между ответственностью и покаянием?

Л.: Да, конечно. Потому что как еще я могу нести ответственность?

Л.: ...Могу каждый сегодняшний день для того, чтобы было не так...

Ф.: Вы ничего не хотите добавить ко всему тому, что Вы сказали?

Л.: Пожалуй, нет... Вот что я хочу сказать... Не то чтобы сознательно, это бессознательно было. Вот у меня родился старший сын, мне был 21 год, когда он родился, довольно молодая еще тогда... Вот ему я никогда не говорила неправды, чего бы это ни касалось. Многие говорят, что детей нужно беречь от тяжелых впечатлений, и ради этого им не надо говорить правду - я не считала, что это так. Я всегда говорила ему правду - тяжелое впечатление или не тяжелое. Это было со старшим сыном, и 22 года спустя - с младшим то же самое. Касалось ли это семьи, или касалось ли это жизни вообще, общества или страны - никогда не лгать детям.

Ф.: ... Вот этот друг?

Л.: Да, покойный Якобсон, теперь. Он говорил так: "Есть вранье, а есть ложь. Вранье - грех простительный. Вот, если я жене сказал, что мы были у Маши и мы с ней играли в шахматы до утра, я соврал, конечно, но этот грех мне проститься. Но вот, если я говорю и Маше и жене, что я люблю и ту, и другую - это уже ложь, вот это нельзя." Это его подход и я абсолютно с ним согласна, что есть действительно ложь, которая есть действительно тяжелый грех, недопустимый. А соврать я могу. Я могу и сыну соврать, сказать, что иду

туда-то, а пойти в другое место. И отцу моему я могла также сказать. Даже с отцом у меня был такой разговор... Я редко его навещала - была занята. Он мне говорил: "Ты хотя бы звони мне." Я говорю: "Ну как я могу тебе позвонить, если меня прослушивают. Я могу тебе позвонить, но я не могу же тебе сказать куда я иду, потому что меня прослушивают, за мной следят." Отец говорит: "А ты соври, скажи, что идешь в ресторан." Такой у нас был договор.

Филипп: "Спасибо"

Interview with Larisa Bogoraz
Moscow, April 1996

Philip: What heritage did you receive from your parents?

Larisa: A very difficult one. My parents participated in the revolution and in the Civil War. They were active supporters of the Party. They were ideological believers and had high-flying positions. My father – here is his portrait – worked in the Ukrainian Gosplan at the time of collectivization.

Ph.: Was he a Ukrainian himself?

L.: No, both of my parents were Jewish. He was arrested in 1936, when I was seven. And before that they had separated. I lived with my mother, who was a teacher of history. She finished university, which at that time was called the Institute of Popular Education. Then she started to teach history and then the history of the Party. So she was an ideological worker. I was born in Kharkov. I know Ukrainian like Russian. I can speak and read fluently in both languages. I went to school. Then during the war, we were evacuated.

Ph.: Were they Jewish believers?

L.: Probably. I received nothing Jewish from my parents. Their parents, i.e. my grandparents, died before I was born. The stepmother of my father retained something of the Jewish heritage, but I saw her very rarely, especially after my father's arrest. I didn't know any Yiddish in my early childhood, but then when I met my father after the camp, it was too late to learn it.

Ph.: Was he there for a long time?

L.: He was not sentenced for a long time. In 1936 he was sentenced to five years in Vorkuta. But in 1941 he couldn't leave there, it was forbidden. So he remained in the far north until the Khrushchev amnesty. And then he came back. So at that time I got to know him again as a grown-up person. By that time, I already had my own family. My father was a very clever man. He re-evaluated a lot during his life. He had begun to rethink before he was sent off in 1936 but had not taken any concrete steps. He was afraid. And then we met.

Ph.: So he began to rethink everything he used to believe in already during the repression against the Ukrainians?

L.: Yes, he completely rethought it all.

Ph.: Did you talk about it later on when you met?

L.: Yes, but I didn't write anything then. I regret that, even feel guilty now. In 1969 or 1970 I don't remember, my father was expelled from the Party. After the camp he had been accepted back into the Party. And on every revolutionary occasion they used to visit him as a Party veteran from the raikom [the Regional Committee]. And in 1969 he declared that

he was leaving the Party, because he disagreed with its policies. It was not easy at all. It was very scary. Especially for a man who lived through the camps, and nevertheless he did it. I used to ask him why he did it, "If you are afraid then don't do it. We know that you do not agree with the policies, but you don't have to tell them about it." He said, "They come to me and say that I am an activist. I can't lie any longer." He had that inner compulsion to tell the truth. I got a lot from him, when I myself was already a formed person. I realized that he remembered the Jewish language and sang Jewish songs. But mother didn't remember any.

Ph.: Did you live with her?

L.: Yes, I lived with mother in Kharkov and then on the Volga as an evacuee during the war. And then we came back to Kharkov. I think I was 16 then. I finished school in Kharkov and went to Kharkov University in 1946 to do Philology. Both in school and in university I was a very active komsomol member.

Ph.: Could you please tell more about it?

L.: When I was little, I was brought up by my mother, but in fact it was not because of her influence on me... Initially we lived in a separate flat, and then after the war all the flats became communal. Also living with us was my mother's niece, my cousin, both of whose parents had been repressed. Her father was simply killed, he was a Latvian. When they were arresting the Latvians, her father was arrested and then killed during the trial, obviously. And her mother was sent off to Krasnoyarsk region. So we lived together, all three of us. My cousin was even more orthodox than myself. Although she did not have that yearning to be active.

Ph.: So you were a convinced activist then?

L.: Yes.

Ph.: How did you become one? Was it from your parents or rather from school?

L.: Neither. It started even in kindergarten. I could have found out more, but I didn't want to. When I was ten or eleven, a woman came from where father was in the camp, from Vorkuta. She brought his greetings – she couldn't bring a letter from him, though – and she said that she was going back and could take a letter. Mum told me to write a letter, and I said that I wouldn't write a letter to an enemy of the people. In the kindergarten, we had books and textbooks.

Ph.: Did this reflect the influence of the Pavel Morozov case?

L.: Yes, but not only because of him. In fact, we had to study with old textbooks, as there were no new ones. And those old books contained the photos of some of the repressed Party activists. And we had to cut out them with scissors from our textbooks or to ink them in. I was quite young then when we had to do it.

Ph.: Did you have a feeling of fulfilling a communist duty then?

L.: Yes. And those enemies. Everyone would suffer because of them. So it was with the falsely oriented. I did that in a convinced way. Maybe some of my classmates did it because they had to. My cousin – she was more convinced than I was. She was older than me.

Ph.: What did you believe in? In communism? In Stalin? In the Party?

L.: I believed in justice, in the equality of people. That was the idea which inspired me a lot. In fact, it was deeply rooted in consciousness. I didn't have to tune myself into it. I really didn't differentiate between... I studied in an ordinary school where there were different children. There were children of high-flying parents, there were children of the repressed and children of ordinary citizens. I made equal friends with the children of all families, making no distinction. There was no such a thing that I would be more friends with those kids whose parents were repressed, although we had a common fate. Also I wouldn't be more friends with those whose parents were on high posts - on the contrary, here I felt even less at home.

Ph.: Where do you think that love for equality came from? Was it due to communism?

L.: I don't know exactly. Perhaps from Christianity. I have pondered on this issue before, and I have certain conclusions. I began to read when I was quite young. And I read the Russian classics. And these values are contained in the Russian classics. I think that we were brought up on the Russian classics. My aunt started to read to me when I was very young and when I myself couldn't read. She read me the fairytales of Chukovsky, and she made commentaries on them in a revolutionary spirit. She said that Chukovsky was anti-revolutionary and anti-Soviet. One of his fairytales, called "Tarakanische" ["The Cockroach"], was a caricature of Stalin. I didn't agree with her. I remember in kindergarten I was satisfied with everything. I fitted the life there. I created for myself a model of reality where I felt we were living rather well, if poorly. I believed that my parents before the revolution had lived badly. And it took me quite an intellectual effort to realize that it wasn't the case. For example, my mother had grown up in a Ukrainian village, but in a Jewish family. They would prepare products for winter in the autumn. She bought a goose, took all the fat off it, melted it and kept it, and it stood through the winter. On one occasion the jar with fat broke and she cried. I thought to myself, "So for her this goose is worth so much that she is crying over it". Then I discovered that her parents, very poor Jewish people, had bought 20 geese in the autumn and prepared them for winter. Then I thought that they used to buy 20 geese and we bought only one – and it is a whole event for us! Even when we bought a mug it was an event. But it took me quite an intellectual effort. I knew that my grandparents had a number of children, and they only had one pair of shoes to go around, so most of the time the children were barefooted in winter. And I had my own shoes. So I concluded that before the revolution we lived badly and now at least it had got better. It took me a while to realize the situation.

It was in the first half of the 30s. I remember my Mum taking me to the nursery, I was very little, but I still remember starving people on the streets of Kharkov. I remember the corpses of people swollen from hunger lying in front of our house every morning we went to nursery. And when Mum was taking me back from nursery, we would buy bread with the talons. With all of our talons it came to a whole loaf. We never managed to get all our bread

home from the baker, because we gave some of it away on the route.

Ph.: And you didn't make a connection between starvation and the collectivization?

L.: Those two things were not connected in my mind. I really did not know about it, I truly didn't. And I didn't find out about it soon enough. I had a Ukrainian nanny, and she kept taking food off to her family and kids who stayed behind in the village. And she told everything that was going on.

Ph.: Were there anti-Semitic feelings at that time?

L.: I didn't sense anti-Semitism until after the war. I didn't consider myself a Jew. The first time I encountered anti-Semitism was during the evacuation during the war.

Ph.: Where did you live during the war?

L.: On the Volga. On the middle Volga, not far from the town of Kyubushev as it was called then. Now it's Samara.

Ph.: Then you were a convinced Komsomol, when was it?

L.: I looked forward to my 16th birthday. When you turned 16, you would become a Komsomol. I was waiting for the day when I could become a Komsomol member and prior to that I was an active pioneer member, doing different charitable activities. Pioneers used to help the families of soldiers. I also used to go to help them during a frosty winter.

Ph.: Looking back on the influence of Pavel Morozov and others, do you think that your late interest in conscience was in one sense evoked by communism?

L.: Maybe. I think many of the dissidents and human rights activists had undergone the same path of communist activity. I think those ideas which were proclaimed and not realised – this is very important for a child. It was like that beacon that keeps its light up. I honestly used to believe that our state was craving for justice. And the real longing for these values and ideals I found in Russian literature, though I didn't think of the connection with reality yet. And when I was in high school, after evacuation, I was elected to the School Komsomol Committee. I could draw very well and my duty was to produce the wall newspapers. And the content I knew very well. I did it with full conviction, thinking that I was doing the right thing. And when I went into university, I was again elected the komsorg [the komsomol organiser] of the course. Here I started to think. I started to think of the following. I was the youngest on the course, I finished school much earlier than others. I thought "why are my older friends are refusing such an honour?" They all refused, and I didn't manage to avoid it as I was the youngest one. So I still couldn't understand it. But at university, I encountered an older generation. They were young people who had passed through the war, who studied before, and who had become grown-ups before me. And I found their position did not correspond at all with mine.

Ph.: Was it in Kharkov?

L.: Yes.

Ph.: Was there some freedom in the university at that time then?

L.: Yes, though many students had been arrested before me and when I was there. But the arrests were acting in the reverse direction.

Ph.: Very interesting. And this free thinking, probably, influenced you and you started to rethink, didn't you?

L.: Yes, yes. I met young people, who had passed through the army, and who were reading not only Russian literature, but also Soviet - Akhmatova, Pasternak, Tsvetaeva. And me - I didn't know any of that. When I was growing up it had been all [forbidden] already. I didn't even know who Esenin was.

Ph.: What do you think influenced you most then: personalities or conversations?

L.: Both personalities and conversations. You know, when I entered university, it was the year of Zhdanov's speech against the Leningrad and Zvezda journals. It was in 1946. And I, as a komsorg of the course, had to make a report. I agreed, thinking that if something had been written about it in the newspaper then it was adequate, though I hadn't read Akhmatova or Pasternak then and knew nothing about them. So I made the report, and a young man who was studying with us, who fought the war, reported back and totally ruined my points in the report and gave me Pasternak to read. I read it and did not understand.

Ph.: What did you read from Pasternak?

L.: I read his poetry, which was written in an unusual way for me. I didn't know then... It was a hole in literature for me.

Ph.: Was it his published poetry or samizdat?

L.: Published, though the libraries did not have yet have it then, but some people had it at home.

Ph.: Were they copies published before the revolution?

L.: No, no, after. So some people had the books. I read it and understood nothing. But I realised that Zhdanov's report did not have any link with all these writings. That was the only thing I did understand. I was introduced to Pasternak's poetry by my future husband, Yuri Daniel. And, of course, his influence on me was the most powerful. He was also a philologist. We met in the faculty. He was five years older than I. We met in 1946. We had a group of 5-7 of us, lovers of poetry. It was a group of friends.

Ph.: The culture of that group was, probably, contra-communist?

L.: Yes, yes.

Ph.: Was it a conflict for you?

L.: No, it was not a great break to move into this circle. And also it was around that time, 1947, when I went to visit my father in Vorkuta. He was free at that time, but he couldn't leave the place, because he was not allowed to. It was not only because of seeing father... We had arguments. But he was very careful in what he said. He tried not to put any pressure on me, but anyhow, we argued.

Ph.: What did you argue about?

L.: About politics, about the whole situation. But I met a lot of inmates. I realised that they were interesting people, and in no way enemies of the people. I started to think about why they were all there. So many of them. They were also free by then, but they were not allowed to leave. That influenced me a lot.

Ph.: How did it affect you? In what way?

L.: I started to think, my brains started to move, as we say. Although I continued to argue with my father, I was already prepared inwardly to change my point of view.

Ph.: When did you get married?

L.: In 1947. My husband was a free-thinking person and that influenced me.

Ph.: So maybe the awakening of conscience is connected with love?

L.: I think so.

Ph.: What did you do afterwards at the end of 40s/ 1950s?

L.: After that we had to think about how to live. When I married, I moved to Moscow and there I encountered anti-Semitism. We couldn't get work in Moscow. We were teachers. And teachers were needed. But as soon as they found out our nationality, they refused to take us. We even tried to find some jobs in the areas close to Moscow and faced exactly the same.

Ph.: Did it have any effect on you?

L.: No, it didn't. It didn't traumatize us. Probably the fact that I was a daughter of a repressed person also played its role. But it not make any difference to me why they did not take us to – whether it was because I was a Jew, or because my father had been arrested.

Ph.: And were you still a Komsomol member then?

L.: It was a pure formality.

Ph.: Because of the circumstances?

L.: No, I simply didn't want to any longer. I had changed a lot by then. So between 1945 and 1947, when I visited my father, my views underwent a radical change.

Ph.: Were there others who had an impact on you?

L.: The whole company of young people influenced me, as I have mentioned earlier. And they visited me at home and argued with my mother, who was ideologically convinced. I was not prepared for such an argument with my mum, but I listened to the arguments and they were better arguments than my mother's.

Ph.: Did you have many friends at school?

L.: I had no close friends at school. I was a bit...

Ph.: Because often in these interviews people have mentioned that their interest in conscience started through friendships.

L.: I didn't have close friends. Yes, I understand what you mean. It was exactly like this in Russia. In Russia the free thinking occurred only in close circles of friends. I didn't have such friends at school, though I had some girlfriends, classmates, with whom I spent our spare time, and we talked about some things. But we didn't talk about anything serious. I sometimes meet them now and have discovered that one of their fathers was arrested. One of them is now writing quite good short stories, and I realize that I could have made friends with her. So, on the whole, it was the university friends who influenced me a lot... You know, it was like a whirlpool.

Ph.: Could you please describe the events in your life since the death of Stalin and till the end of the 60-s?

L.: I must admit I was shocked by the death of Stalin. I wondered how we would go on living. Everything in life was so closely connected with his name that it seemed as though life was only possible when he was around. Because we didn't manage to find any job in Moscow, we moved to somewhere outside of Moscow. Both of us worked as teachers. And I saw how people lived in the provinces. I listened to them. I could see the justice in what they said. We started to have a feeling then that what was shown in films or what we were told was not true. And it was no longer possible to lie.

Ph.: Why do you think it was possible to lie before?

L.: Prior to that we trusted in what was said from above. If they say this, then it should be like this.

Ph.: So you started to trust your own views then?

L.: Yes, I started trusting myself more, trusting my own eyes, my own ears. It was quite a quick transformation in the 1950s, 1952. And when I returned to Moscow from Kaluzhskaya oblast' – my husband had left earlier and started his literary work here – and I stayed there for one more year as they would not let me go. Anyway, when I finally managed to go back, I found similar free-thinking group of people. They were intelligentsia, literary figures, various generations of various levels, but they were all free thinkers. And you know what I heard then? You know that the songs of Galich, Kim, Okudzhava played an important role at that time. Although the songs were not on theme of our discussion, they did not fit into the official mainstream culture. I think it started with Okudzhava's songs. Then the songs of Kim, and then of Galich. And new people appeared, and a new circle evolved. You are absolutely right when you say that friendships and close relations with people are of great importance. Besides we had a mutual influence on each other.

Ph.: In your speech of 1968 you mentioned that the truth is more important for yourself and not only for its effectiveness. What did you mean by that?

L.: I'll explain it to you now. The thing is that what my friends and I were involved in – stepping in for people who were innocently repressed, and generally pointing out the injustice or human rights violations. We considered the events of 1968 a useless matter. We thought that no one would listen to us and that we would only create troubles for ourselves. But we decided that although we couldn't hope for any result, I assumed that there would be a result in about 300 years. I would never see it, of course, but it would happen. I assumed that what was important for me was important for others and one would have to pay heavily for it. But I felt as if I was ready to pay this high price and I would do it, so others seeing that also would follow my example one day. I felt that my inner freedom was more important than its exterior form. So it was not as if you had to pay with your life, but only with your exterior freedom. So I thought the more people would want to do the same, the less the price to pay there would be.

Ph.: If I understood you correctly, there was a big discussion about this – you felt you had to speak out openly for it to be effective. Was it a very important discussion? Were there many people involved in it?

L.: Not so many were involved in it, really. It was only discussed in my circles.

Ph.: About effectiveness?

L.: About effectiveness, but also about the principle of openness. Everyone believed that it would not be effective. Why did I say that we would see results in 300 years' time? I thought about what country was an example of human freedom? I seemed to me that England had a very high level of personal freedom, but it also hasn't always been like that. 300 years ago, England had been different. So I thought that in 300 years' time, Russia too would change.

Ph.: What was more important for you –freedom or truth?

L.: That's a very difficult question.

Ph.: Did you fight for freedom or truth?

L.: You know, we fought for both freedom and truth. It was no longer possible to lie. I felt that I couldn't do it any longer. For instance, at that time many people were leaving the country. A friend of mine left for Israel. She sent me an invitation to come. It was the 70s already. So I thought, maybe I should go. And I had to fill in an application where I was supposed to write that I wanted to join my relatives there. But I don't have any relatives living there. They all live here. And I felt I simply couldn't write this. I felt I couldn't permit this lie to myself. It would be an indecent lie and even my hand didn't want to write it. And then I realized, that I simply didn't want to leave. But I had to find out the reason why. Now I found another reason why I didn't want to leave - you won't find "Belomor" cigarettes anywhere else in the world.

Ph.: Did you believe in the absoluteness of truth? Was it something concrete? Or were you against any kind of lie in principle?

L.: I believed in the absoluteness of truth, I should think.

Ph.: How would you define it? Was it religious in a sense?

L.: Imperative... I had started to move closer to Christianity then.

Ph.: Before that moment?

L.: Yes.

Ph.: Could you please elaborate a bit on this point?

L.: Sorry, but no. I wouldn't want to tell about my intimate experience.

Ph.: But was it also connected with conscience?

L.: Perhaps. But it was more linked to my fate.

Ph.: Without giving any details, this absoluteness of truth, was it like a religious act almost?

L.: Probably yes.

Ph.: Maybe not in a churchy institutional way?

L.: Not at all in the church way, but with inner feelings, a worldview approach. Also it is impossible to have that pressure all the time, that burden of dependency. You know, I think it was a priori in my character. Not from anybody's influences. It was in my character, within me.

Ph.: Maybe it was from some experience?

L.: No, no. It was coming from within. I had to realise the way I used to live before and what I was doing then was not freedom. When I realized, that I didn't want to go on like that any longer.

Ph.: Maybe you can differentiate between conscience and inner voice here?

L.: Maybe a little. I'll tell you now. When I got back to live in Moscow and my husband was arrested for writing his pieces abroad, I started to fight. I knew that it was an unjust accusation and many supported me, most of whom I didn't even know. And then I understood that I couldn't talk just about my husband, because similar things were happening to others as well. And I felt it was my duty. So I think that was my conscience that I couldn't liberate only myself or fight only for myself. Simply it was my duty to stand for others the same way. Even though I didn't know them, I had to know exactly what was happening to them so that I wouldn't make any mistake.

Ph.: In that speech you also mentioned about the responsibility for Russia and for the evil of the past. What did you mean by that?

L.: You see, I feel myself as a citizen of this country and I accept it along with its history and with all the sins taking place in its history. I can't say it has nothing to do with me as I accept this country as it is. Otherwise, I have to leave it behind. But if I decided to stay here, then.... It's not even that whether I stay here or not. It's the inner feeling I have that I am its citizen.

Ph.: Do you feel responsible even for the misdeeds committed by somebody else?

L.: I take responsibility even for Ivan the Terrible. That's the feeling I have, do you understand me? I accept not only the Soviet period of history because my parents took part in creating that monster, but I accept it totally from the very beginning till the present day. Even if I tried but didn't succeed in changing something, still I am responsible for it. That's why when after that demonstration against the occupation of Czechoslovakia people were telling me how lucky I was because from then on, I was not responsible for it. I replied that I was still responsible for it because the troops entered and stayed there, and that they stopped the development of the country.

Ph.: So was it a moment of repentance?

L.: In a sense.

Ph.: And did you realize it then?

L.: I realized it from the very beginning> Not from the beginning of my life, but from the moment when I got into that way of conscience, of thinking. It is a deep feeling – duty and responsibility.

Ph.: Then there is a very interesting link between repentance and responsibility.

L.: Of course because what would be another way of carrying the [burden of] responsibility?

Ph.: Maybe you would like to add something?

L.: Just this. I think it was not consciously done, rather subconsciously. For instance, I had my first son when I was 21 – I was still very young then. I never lied to him no matter what. Many believe you have to protect your children from negative impressions and to do so you should not tell them the truth. I disagreed with this. I always told him the truth no matter whether it was a bad or a good impression. I was like that with my first son and then with my second 22 years later. It didn't matter whether it was family-related or about life, society or our country – I would never lie to my children.

[Some clarifications]

L.: Yakobson, who passed away now, used to say, "There is a difference between different types of lie – lying and telling little lies. Telling little lies [vran'e] is a sin that can be forgiven. For instance, if I told my wife that I was at Masha's place and we played chess till dawn, of course I lied to my wife, but this is a forgivable sin. But if I told both my wife and Masha that I loved them, then it is already a lie (lozh') and this is not acceptable." It was his own approach and I agreed with him. There really is the kind of lie [lozh'] which is a heavy sin, which we should not allow. But I can tell a small lie. For instance, I might tell my son I would be going somewhere when I was going somewhere else instead. And I would do the same thing with my father. I even had the following conversation with him... Being very busy, I rarely visited him. He used to say, "You should phone me at least." And I would reply, "How am I supposed to phone you if they listen to us all the time. I can phone you, but I won't be able to tell you where I'd go, because they would listen to us and then follow me there." In response, my father said that I should lie, saying I would go to a restaurant. That's what we agreed upon.

Philip: Thank you.